

АНДРЕЙ ФЕДАРЕНКО



## ДИКИЙ ЛУГ

ПОВЕСТЬ

1

Урочище называлось Дикий Луг. Находилось оно километрах в двадцати от деревни, за Наровлей, на другом берегу Припяти. Каждый год в июле туда вербовали косцов и женщин, потому что местных рук не хватало, и травы переставали.

Готовились к поездке основательно. Бригадир, поляк Масловский, даже делал обход каждого двора, проверял, всё ли в порядке. Мужчины клепали косы, вставляли зубья в грабли, вырезали из сырых осин менташки\*, запасались новенькими зернистыми брусками. У каждого было специальное поленце с вбитой бабкой, чтобы там, на месте, поклепать косу. Женщины собирали в котомки закуску, готовили фляги, бидоны, баклажки под воду, а некоторые, самые экономные, — под хранившийся ещё с весны берёзовый квас, перестоявший, сивушный на вид и на вкус.

Особенно много радости было детям. “Дикий Луг” в их понятии значило “рай земной”. Там ночуют в шалашах из сена, едят около костров, рассказывают разные истории, там Припять, в которой столько рыбы, что она сама выпрыгивает из воды на берег. Дети мастерили удочки, плавил в ложках олово для грузил, учились на выгоне забрасывать донки, собирали под

---

\* Менташка — наждачная лопатка для заточки косы.

---

*ФЕДАРЕНКО Андрей Михайлович родился в 1964 г. в д. Березовка Мозырского района. Окончил Мозырский политехникум, Минский институт культуры. Прозаик. Автор книг прозы “Гісторыя хваробы”, “Смута”, “Шчарбаты талер”, “Афганская шкатулка”. Лауреат Литературной премии им. И. Мележа. Живет в Минске.*

колодами толстых червяков в жестянки из-под халвы, не позабыв пробить в крышке дырочки, чтобы доставить червяков живыми: путь неблизкий!

Выезжали затемно, часа в четыре утра на двух грузовых машинах. Люди набивались в кузова: мужики, дети, бабы, которая и с ребёнком. В кабину рядом с шофёром садился Масловский. Дома оставались только старики и подростки — смотреть за хозяйством.

Машины ехали с включёнными фарами. Дорога вела через поле ржи, через песчаные заносы, где колёса буксовали и надо было выгружаться и толкать, через лес с корнями, от которых кишки из тебя вытряхивало, и, наконец, катилась гладким, ровненьким шоссе. В июле светает рано. Солнце ещё не встало, а уже около Наровли светло, только над рекой белый туман, словно вода кипит. Приткнутый к берегу, людей ждал моторный паром. На берегу возле него топтались целых три начальника, все в белых рубашках, без пиджаков, штаны заправлены в сапоги, и у всех троих на ремешках — офицерские планшеты. Когда начали грузиться, увидели на пароме старуху с коровой — верёвка наброшена на рога. На ногах у старухи — кирзовые сапоги с белыми протёртыми дырочками на голенищах, на плечах — военный китель, за спиной горбом — платок с припасами, на лице — суровая окаменелость.

“Большая корова, — пронеслось между людьми. — На травы ведёт...”

Это было не редкостью: если у местного люда болела скотина и не помог ветеринар, так шли в Дикий Луг с надеждой, что животное само отыщет нужные травы и вылечится.

Застопорили колеса машин, отвязали канат, завёлся мотор. Корова поворотила голову и стала смотреть на свой берег.

...Плывёт, кришит паром. Плещется снизу в доски вода. Над рекой — туман. В тумане на середине реки — одинокая лодка с рыбаком. И так приятно пахнет бензинчиком и дымом от папиросок!..

## II

Паром с разгона уткнулся тупым носом в песчаный пляж. Мужчины перебросили на берег деревянный настил. Старуха, ни на кого не глядя, сошла по нему со своей коровой и направилась в приречные заросли, растирая в труху сапогами стебли болголова. Выгрузился народ, уехали машины.

Нигде не было ни знака дороги. Широкая, длинная заводь с ивами уходила от Припяти. За ней, на пригорке в тумане, и был Дикий Луг. Люди со своими котомками, граблями, косами и вилами на плечах, в тумане похожие на повстанцев Калиновского, гуськом потянулись на пригорок, стараясь шагать след в след, чтобы лишний раз не топтать траву. Пока добрались, передние вымокли с головы до пят, а хитрому начальству, которое замыкало колонну, — хоть бы что, только сапоги от росы блестя.

Отсюда начинались участки. Вся просторная оболонь лежала перед глазами. Клин нетронутой, белой от мокрой паутины травы расширялся на пригорке, сужался к заводу и упирался в берег. Слева, внизу, его границу обозначала Припять, а справа, на возвышении, — неровная стена кустарника. Кустарник то влезал в травяное поле, то отступал, образуя прогалины. А дальше, за пригорком и вокруг, простирались сплошные полесские джунгли, непроходимые заросли, пышная сень лозняка и ольшаника, крушины и ольхи, краснотала и ивняка; и среди всего этого бескрайнего зелёного простора редко встречались клинки чистой травы, и ещё возвышались, как маяки, то там, то здесь одинокие дубы с гнёздами аистов.

Это было полное владычество дикой природы, отданной самой себе, царство почти не тронутой человеком первобытности, чудесное запустение, непроходимая низинная глушь. Только река связывала с цивилизацией, и единственный способ связи, если, не дай Бог, что случится, — кричать, звать через реку, чтобы прислали с того берега паром или лодку.

Давно, лет десять назад, людей привезли сюда впервые, каждому отмерили надел, обозначили вбитыми в землю колками, на затёсанном месте химическим карандашом вписали фамилию косца. Колки давно пустили кор-

ни, стали большими вербами. Уже не надо было каждый год перемерять поновому. Каждый знал свой куст и свой надел до последней кочки, как собственный лужок дома в огороде.

Пока люди привычно разбредались и разбирались, раскладывали котомки, бабы ладили шалашики из постилок, мужчины постукивали молотками — насаживали косы, а более расторопный уже и клепал, — три начальника тоже не теряли времени. Один показывал пальцем направо, второй рукой махнул налево, третий приставил ладонь ко лбу, хотя солнце было в стороне от него и ещё не светило в глаза... И на том их миссия закончилась. Повернулись и степенно пошли протоптанной тропой вниз к парому. Масловский на ходу дал последнее необязательное распоряжение Кулиничу, которого ещё в деревне назначил вместо себя: “Ну, смотрите тут”, — и поспешил за другими. Хлопотный день у него впереди: суета, беготня, контора, бухгалтерия... Одному угоди, с другим подхалимствуй, на третьего прикрикни, с четвёртым через силу выпей... А всё для людей, чтобы денег побольше выцганить.

Ещё тяжёлая от росы трава колыхалась за начальством, а мужики уже махали отлаженными косами. Трава по пояс, ровная, не перезревшая, дождём и ветром не побитая, косится легко; только слышно: жих! жих! Физическое наслаждение слышать этот звук: как подсекает тонкая сталь уступчивые стебли, бросает их справа налево. Туман опал на землю. Росистая паутина блестит на солнце. Хотя солнце уже хорошо припекает, меж косцами не увидишь голого тела. Единственная вольность — закатать у сорочки рукава. Маленькие жабки так и джигают из-под кос. С ближних дубов слетели аисты и ходят каждый за своим косцом, долбят недорезков. Вперемешку с аистами сзади бабы с большими детьми растрясаят траву; меньшие не отходят от шалашиков. Оказывается, им запрещено даже смотреть в сторону реки, не то чтобы к воде спускаться: Припять настолько непредсказуема, что, если захочет, может утопить даже на сухом берегу. Вот тебе и рыбалка, вот тебе и желанный Дикий Луг! Хотя, если честно, и самих туда не больно тянет, они ещё на пароме увидели, что это действительно опасная, глубокая, широкая, большая река, особенно здесь, перед впадением в Днепр. Так что теперь только и забавы, если кто-нибудь из косцов захочет пить, — и поднесёшь ему воды, или нарочно, по доброте душевной, попросит прикурить папироску, — прикуриваешь, мать видит, но ничего не говорит.

Мужчины косят сверху вниз. Покосы длинные, заканчиваются у самой заводи. Под ивами, спрятавшись в тени, стоят машины. Ивы тут такие старые и толстые, что в объёме не уступят дубам. В трещинах их шероховатой коры легко прячется ладонь. Сами деревья стоят на берегу, а корни перепутанными веревками крутятся по земле и спускаются в воду. Вода у этого берега глубокая, тёмная, холодная, если опустить руку, и чистая — ни травинки, даже ряски нет. Зато противоположный берег — пологий, низкий, изобилует растительностью. Он весь зарос ситником, айром, рогозом, а ближе к середине — трилистником, и там, на воде, нежатся жёлтые кувшинки и необычной белизны крупные лилии. И, конечно же, всюду — и на берегу, и в воде — знакомый камыш со своими коричневыми и чёрными початками. Из его стеблей получаются неплохие шпаги, на которых можно биться, пока лишний пух не начнет лезть в глаза и в рот, щекотать в носу. А ещё, чтобы подобраться к матери, его можно срезать, штуки три-пять, и поставить в банку на столе — красиво...

Там, у того берега, полно рыбы. И замирает у косца душа, когда доносится оттуда сладкий всплеск... Но знают из горького опыта: нелегко добыть припятьскую рыбку, из-за камышей не забросишь ни удочку, ни донку, не влезешь с топтухой или “кобылюю”, которые годятся только для болот, канавок, прудов глубиной жабе по колено, а тут нужны особые снасти, названий которых они даже не знают, только видели, как местные ловят...

Остаётся только с завистью на тот камышовый рай поглядывать.

Докашивая до заводи, мужчины болтают с берега косами в воде. А кто-то спускается к Припяти, на пляж, куда утром причалил паром. По свежим и высохшим зеленоватым полоскам тины, как по годовым кольцам, можно определить, какой величины бывают волны в ненастье, или если расплеска-

ет их буксир с тяжёлой баржей или пассажирская “Ракета” на своих крыльях. Тут среди разного нанесенного водой друза попадаются раковины — чёрные, тяжёлые, а внутри, если створки её раскрыть ножиком, — с перламутровым отливом и с острым запахом свежей рыбы. Косцы мочат в воде менташки, шлёпают ими по белому мелкому песочку, чтобы набился в поры, — и лучше любого бруска.

### III

— Давай, давай, давай! — подгоняет Кулинич, если видит, что кто-то или пристал, или остановился вытереть пот, или коса не так ходит в руках, или слишком медленно поднимается на пригорок.

— Ниже! ниже! ниже! — покрикивает он, когда не к чему придаться. Во рту его поблескивает золотой цыганский зуб, давно докуренная, потухшая беломорина прилипла к губе.

Сам он худой — кожа, кости и мускулы. Таких обычно никакая усталость не берёт. Лесничевская фуражка с зелёным околышем ухарски сдвинута набок, из-под козырька вылезает чёрный чуб с белыми паутинками седины. С голенища свешивается ремешок менташки. Ему уже за сорок, но он только недавно, в прошлом году, женился; взял не из своей деревни, а аж из Махнович — тоже, правда, не молодую, зато какую удалую! В свои тридцать она выглядит как девочка-подросток. Такая весёлая, проворная, со стройной фигурой и с милым наивным личиком. Есть у них уже маленький сынок. И он с ними тут, на дугу, спит в шалаше под покровом из марли. Спокойный, хоть бы пискнул. Махновочка время от времени втыкает грабли в мягкую землю и бежит смотреть, выдувает из шалаша комаров, которые шьются в тень от солнца. Она сама вся — как солнце. Всё для неё в новость: и её роль замужней женщины, и молодой матери, и заботливой хозяйки... Она никогда не знала самостоятельной жизни, всё время жила с родителями, и теперь жадно, с жаром отдаётся этим новым обстоятельствам своей жизни, которая, оказывается, может быть такой полной, огромной!.. Счастливая! И как ни старается притушить блеск в глазах, а всё равно исходит от неё сияние и вокруг разливается: только посмотрите, люди, какой я умею быть! И разве что изредка, как облачко на солнце, набегаёт на лицо виноватость за то, что ей повезло, и даже лёгкий испуг: а вдруг возьмёт и случится что-нибудь, и исчезнет так внезапно свалившееся на неё счастье...

Кулинич до женитьбы был тихим, спокойным человеком, “добрячий”, так характеризовал его младший брат Петро. Работал в лесничестве. За порубки крепко не гонял, напротив, когда натькался в лесу на свежий пень, так закрывал мхом и притаптывал тыреу. Только если уже совсем внаглую, просто на улице сваливали машину ворованных дров, так предупреждал, чтобы спрятали на задворки и не шмыгали двухручкой, а его, Кулинича, с бензопилюю позвали. Никогда не брал ни денег, ни магарычей. “Отдашь какой день”, — бурчал, что значило, чтобы баба помогла жать или картошку копать, молотить ли или сечки нарезать, капусту ли осенью нашинковать. Причём, как некоторые из восточных полешуков, он не смягчал “ц”, и у него звучало: “капац, резац, шаткавац”. Удачливый охотник, он часто приносил из леса то зайца, то лису, а бывало, глухаря, тетерева, один раз даже енота. К нему в дом нарочно приходили подивиться, качали головами, шёлкали языками да так и не верили, что добыча из их леса. Местный народ, веками живущий в своих лесах и болотах, в большинстве нелюбопытный, флору и фауну знает слабо: привычка видеть вокруг себя одно и то же притупляет внимание. Им легче поверить, что в Дальних Ставах живёт что-то, огненным шаром горит и пугает, чем в настоящие, реальные вещи, в то, что под носом.

“Нет, то не у нас... У нас не водится, у нас бедненько... Куда-то ездил, да ведь не скажет...”

Это правда, он немногословен был. Даже когда мужчины собирались зимою выпить, в карты поиграть — выпивал немножко, сидел молча, смотрел, как другие играют, сам же отмахивался: ай! они снятся ночью!..

Стоило же только человеку жениться, как его словно подменили. Задрал Кулинич нос! Набрал в голову, что он уже неизвестно кто. Стал лезть вперёд, вмешиваться в разговор, перебивать, даже командовать... Как и теперь на лугу. Только слышно: “Давай-давай” и “Ниже-ниже!”

Впрочем, никто не обижается. Сами заинтересованы, чтобы сделать лучше, ведь будет проверка. Приедут чужие люди, увидят неважный покос, скажут: “Брак”.

Соседей у Кулинича трое. По правую руку — младший брат Петро, тот самый “добрячий”; по левую — два бобыля, старый и молодой: дед Николай Мирон и девятнадцатилетний Гриша Игнатов. Они вдвоём косят одну деланку. За ними некому растрясать, и проворная Махновочка успевает и на своей полосе, и на их — усердствует, старается, только икры незагорелые из-под юбки мелькают.

Этот Григорий Игнатов, пока его сверстники служили в армии, отсидел в тюрьме за драку год и полтора месяца. Теперь он чувствует себя будто зарванным, отверженным, гонимым — и стесняется всего до неприличия. Даже косит он, вогнув голову, глаз не поднимает, словно крадёт. На голове у него пилотка из газеты, серые от старости резиновые сапоги заклеены кружками, вырезанными из велосипедной камеры, брусок у него не целый, а половина, потому он держит его не в голенище, как нормальные люди, а запикивает в карман штанов... И всё у него как-то не по-взрослому, не по-хозяйски, не серьёзно.

Григорий стесняется своей с молодых лет запятнанной судьбы и того, что косит не один, а с дедом, потому что ему, как шуту, не дали своего собственного целого участка... Стыдно, что он уже взрослый парень, а такой некрасивый: круглое с веснушками лицо, оттопыренные уши, короткая шея и на удивление длинные — как выпрямится, до коленей — руки. Ко всему прочему, он сын настоящего колдуна. Его отец Игнат был огромного роста мужчиной, с бородой до пояса, зимой и летом ходил босой и только в белом — как призрак; большую часть жизни прожил один в лесу, в землянке, зимовал чуть ли не вместе с медведями в одной берлоге, знал язык зверей, птиц, деревьев (известно же, что берёза и осина по-разному шелестят листьями под ветром), а когда умирал — три дня и три ночи не мог отойти, пока не догадались заслонку в печи снять, дверцы в грубке отворить и вьюшки пооткрывать — тогда только в трубе загудело, будто в сталеплавильной домне, и дух его отлетел.

— Гриша, сынок, не лети так, ты ж деда загонишь! — просит Махновочка.

Петро со своей полосы тоже подаёт голос:

— Григорий, у травы ног нет, не убежит!

Они с дедом вместе работают на железной дороге, и у Петра как бы обязанность о нём заботиться.

— Дед, иди отдохни, я докошу...

— А я не устал! — молодым голосом, бодро отвечает Николай Мирон. Где у человека имя, где фамилия, не разберёшь, и его называют кто Николаем, кто Мироном, как языку удобнее. Ему семьдесят лет. Взяли его не столько косить, сколько помогать: где подгрести с бабами, где косу помочь подладить...

Однако пока дед ни в чём не уступает молодым. На два Григорьева маха он делает один, а интервал между ними не сокращается. Притом он успевает ещё периодически пить соду от изжоги, которую называет “жога”. Останется, достанет пакетик из газеты, высыплет в горсть, запьёт водой из солдатской баклажки... На нём чёрная форма железнодорожника. Алюминиевые пуговицы стёрты до того, что уже даже не отражают солнце. Душно ему, и он выдумал вентиляцию: сорочку сбросил, а пиджак надел на голое тело, и теперь из-под пиджака кустится на груди седой мох. И сам он похож на седой пенёк. Бывают в лесу такие пни: старый, но ещё сильный, летнее солнце и зимний мороз выпарили из него влагу, ветра высушили, отполировали, и стал он твёрдым, как железо, стоит и будет стоять ещё неизвестно сколько времени, пережив и своих истлевших сородичей, и хилый молодой.

— Дед, попей ещё соды, — не унимается Петро. — Я докошу за тебя, помогу!..

— А ты всем помоги, — советует сзади жена Петра Валя. — Иди ещё брату помоги — его забыл. Потом иди тюремщику помоги...

Петро и вправду уж чересчур ко всем “добрячий”. У него слащавое, странное для деревенского мужчины прозвище — Цветок. Это местный красавчик, который по ошибке родился в крестьянском доме. С такой внешностью ему бы надо сниматься в кино или работать спецгентом в каком-нибудь неприметном уголке буржуазной Европы, понемногу укореняться, понемногу собирать нужные сведения... Армию он отслужил в Средней Азии. В его альбоме красуется молодой, красивый, как цветок, шляхтичок; на голове вместо шаблонной фуражки с кокардой — щегольская симпатичная панاما. Она и сейчас на нём. В отличие от Кулинича, Петро женился рано, сразу после службы, взял старше себя на пять лет Валю — эту самую, что теперь, работая сзади граблями, ворчит под нос, не утихает. Хотя прожили они уже немало, трое детей-девочек у них: Вера, Надя и четырёхлетняя Любка, — а лада нет и не было между ними. Дело в том, что Петро — горький пьяница. Валя его слабость объясняет так: конечно, он красивый, “цветок”, а она некрасивая, он молодой, а она вымотанная детьми, старая, он хороший, особенно к чужим, а она плохая... С другой стороны, и Петро в долгу не остаётся. Он никогда не называет жену по имени, а только “моя”: “Ты моей не видел?”

У него у пьяного есть привычка шататься по чужим домам и рассказывать, как Валя его на себе насильно женила: “Если бы моя тогда не затащила на себя, так я бы, может, на машиниста пошёл учиться”. Его несбывшаяся заветная мечта: ездить далеко на поезде, видеть новые места, знакомиться с разными интересными людьми... И запах тепловозного уголька. Вместо этого он как пришёл из армии, так вот уже десять лет в мазутной спецовке вместе с пенсионером Николаем Мироном гайки на железной дороге крутит, меняет рельсы и шпалы, а когда мимо пронесется скорый, Петро только смотрит вслед, придерживая от ветра панаму...

Пьяному Валя метит ему иезуитским способом: вечером выгребает все деньги из карманов, а утром не даёт опохмелиться. И только когда видит, как ему плохо, у неё на душе становится веселее, мягче. “Болит? — ласково-злорадно спрашивает она. — Пускай поболит. А не шлейся по домам. А не говори, что у тебя жена плохая”.

— Тебе нужен тот дед, — ворчит Валя. — Тебе нужен тот тюремщик... Тебе нужны чужие люди... У тебя своя семья, трое детей, дом, жена...

Вместо ответа Петро вытирает панамой мокрую шею и смотрит на солнце. Его русые волосы кольцами прилипли ко лбу, а на подбородке подсыхает мутная капля.

— От жарит! Как в барханах!..

И впрямь, давно полдень. Чаше звонкое шарканье брусков и наждаков о стальное полотно. Очень звонко стрекочут кузнечики. Сытые аисты то один, то другой забрасывают головы на спины и клекочут. От солнца в глазах на зелёной траве — белые пятна. Всё: оболонь, Припять, заводь, покосы — видно не отчётливо, а через дымку. Жёлто-чёрные слепни выются над людьми роем; от запаха людского пота они одурели до того, что некоторые садятся на косовьё или черенок и, растопырив от экстаза крыльца, впиваются вместо тела в горячее древко.

#### IV

В обед все потянулись в тень, в прохладу — туда, где заводь, ивы и машины. Некоторые сразу попадали от усталости на мягкую мураву под ивами, большинство стало спускаться к воде: как это — быть на Припяти и не искупаться?

Купание людей, что родились, выросли и живут среди леса и болот, вдалеке от большой реки — это что-то. Все они боятся большой воды, которая движется, плывёт, у всех на генетическом уровне страх перед нею, тем бо-

лее перед такой, как Припять. Они привыкли к воде стоячей, прудовой, карьерной, плавать умеют в лучшем случае по-собачьи и на неглубоком месте, чтобы в любой момент можно было достать ногами дна. Да и слово “купание” они употребляют неохотно, это святотатство, для малышей, а взрослый, степенный человек скажет не “пойду купаться”, а “пойду мыться”.

У каждого в руке кусок мыла. Женщины не идут в воду вовсе, моются с берега. Что до детей, так тем уже и приказывать не надо, сами боятся, и купание для них — лечь в прибрежную воду на живот, а головой — на мелкое: вроде бы и купаешься, волны тебя с головой накрывают, ногами в воде болтаешь, и, вместе с тем, в омут не затянет.

Мужчины с красными загорелыми шеями, с белыми животами и ногами, все в одинаковых чёрных трусах, брызгают себе под мышки, горстями черпают воду, смывают немного пот — и давай скорее тереться мылом. Мыло не хочет давать пену в речной воде. Долго и старательно, по несколько раз, натирают головы. Всё это после будет называться: “А что мне твоя Припять, я в ней сто раз плавал!”

Самые смелые заходят по шею: постоит немного, не зная, что делать дальше, голова над водой, сам кричит, будто от удовольствия: “Ух ты! хорошо!” — а в глазах тревога... Постоит — и назад, на берег, а оттуда скорей за ивы, в лозняк, выкручивать трусы — обязательный ритуал! — купаешься ли ты, моешься или рыбу ловишь — это самое первое, необходимое дело.

В стороне от купальщиков, выше по реке, Григорий, очень осторожно переставляя ноги, как на лыжах, зашёл по колени, потом по пояс, по шею и размашисто поплыл. С берега на него смотрели с осуждением. Он заплыл на самую середину, нырнул, высунулся по грудь, постоял так, помогая себе руками, затем, видно, застеснялся того, что все на него смотрят, лег на спину и медленно поплыл к берегу.

Тем временем на берегу у заводи, под ивами, женщины ладили полдник. Тёплое молоко в бутылках с газетными затычками, жестянки рыбных консервов, сало, мясо из сычуга, огурцы, свежие и варёные яйца, зелёный лук, хлеб — у каждой семьи одно и то же, как солдатский продпаёк, а всё равно кажется, что у соседа вкуснее. Не успели наесться, как на реке затахтел мотор, показалась синяя лодка с тремя мужчинами. Проехала мимо берега и завернула в заводь. Причалила как раз к тому дальнему, камышовому берегу.

По белорусской заведёнке, их сначала дружно осудили: мы тут работаем, а они среди бела дня рыбку ловят... Потом так же дружно оправдали:

— Пусть ловят на здоровье, они вреда не делают...

— Разве мы для них косим? — для себя...

— Видишь, ночью их гоняют, так они днём...

— Наловят, в Киев повезут...

— А что тут моторкой до Киева?

Дети собрались в стайку и пошли смотреть. Кулинич, на ходу дожевывая, тоже.

Людам с этого берега, из-под нависших над водой ив, видно, как они там ловят втроем удивительной снастью — таким широким треугольным бреднем. Двое с боков за полки тянут, третий сзади прижимает комель ко дну.

— Ниже, ниже, ниже! — доносится знакомое Кулиничево.

— Это “крига”, — объясняют несведущим знатоки.

Видно, как сводят вместе полки, вытаскивают ту “кригу”, низ смыкается — и весь улов твой. Как в огромном меху. Блестит серебро в сети, золотятся линии, бьют хвостами, выгибаются зелёные щуки — ходуном всё ходит! Так, не перебирая, вместе с мальками и раками несут и сыпают в лодку.

Люди завидуют, удивляются:

— Во как ловить надо...

— А мы с “кобылами”...

— Сидим в болоте, ничего не знаем...

Теперь уже и детям понятно: смешны они со своими примитивными донками, грузилами и издохшими на жаре червяками в жестянках. Конечно же,

и они до обеда пытались, но ничего не забрасывается, не хочет лететь, запутывается, рвётся, а если что и вытащишь, так клубок “бороды”, корень айра или ком придонной травы. Теперь они всё знают. Конечно же, дело в снастях. Да если бы нам... Дайте такую “кригу” и моторку, мы бы!..

Всего раза три затанули браконьерчики, и больше не надо: пол-лодки рыбы. В мутной воде со дна поднимаются пузыри, всплывают на поверхность притоптанные растения, перепуганные рыбы, которым повезло выжить, пускают круги.

— Хоть бы детям дали по рыбке...

— Кто ж даст?

— Где же тут на всех напасёшься...

— На нас, на такую прорву две лодки дай — мало будет...

Повесив носы, дети пошли назад. Кулинич остался, прикурил с видом человека, который свои обязанности исполнил, а вы уж тут сами разбирайтесь. На лодку он даже не смотрит: рыбы я вашей не видел, счастье такое...

— Эй, помощник! Лови!

Две щуки метровой длины одна за другой шлёпнулись на берег, как две пленницы, забились в траве — толстые, в жёлто-зелёных крапинках, с белыми животами и чёрными спинами. Кулинич даже спасибо не сказал. Равнодушно, на колене, со страшным хрустом — на другом берегу слышно было — переломал рыбам хребет, слупил карманным ножиком кору с лозы, вддел рыбам через жабры да так и потащил хвостами по траве к своему табору. Бросил — и тут же отвернулся. Коса его заинтересовала, кольцо стал проверять, цевьё шупать, ручку подтягивать.

Махновочка сияет от гордости. Укачивает Василька:

— А где наш папочка, покажи... А вот наш папочка, рыбку поймал... Посмотри какую... И ты, когда вырастешь, будешь рыбку с отцом ловить... На моторочке будете ездить... Сейчас мы хвороста насобираем... Чистить начнём с хвоста...

— Почистить и я могу, — ни к кому не обращаясь, предложил дед. Потому что, честно говоря, какой бы ни был, а устал он. А так занятие: с рыбой возиться, с хворостом, с костром, с юшкой...

После обеда солнце стало опускаться. Ивы уже не дают тени машинам, и два шофёра, что вместе со всеми махали косами, пошли в который раз заводить моторы и искать новую тень.

Росы нет в помине, трава тяжёлая, шершавая, косы скользят по ней, а где просто шаркают, как по проволоке. Всё чаще перекуры. Всё больше надобность промочить водой горло и заодно лишний раз посмотреть на солнце, которое из красного превращается в малиновое, мягкое; лучи не светят, а стелются. Вот половина его уже спряталась за дубы с гнёздами аистов. Ещё немного — и совсем исчезло. Тень от ближнего кустарника, от дубов легла на луг.

Люди засобирались у своих шалашиков. А три косы всё ещё посвистывали: Кулинич, Петро и Григорий заканчивали дедову часть.

## V

Какой долгий был день!..

Около костра у Кулинича на юшку и на стопку собралась целая компания. Только Петро Цветок отмахнулся: “Мне с вашей капли только рот промочить, а крика от моей будет...” Там у него свой огонёк, и Валя топчется.

Юшку едят из одного ведра согнутыми в крючок алюминиевыми ложками. Слышатся только мирные звуки сербания, обсасывания косточек и шлепки ладоней то по лбу, то по плечу, то по шее. Комары! Дед сварил без картошки, зато лука, листа, перца и соли напёр... Но юшку ведь ничем не испортишь: рыба всё лишнее вберёт.

Григорию досталась, то ли сам по скромности выбрал, щучья голова — зубастая, как акула, с твёрдыми жаберными пластинами. Он её старательно по косточке разбирает, и когда огонь в костре вспыхивает веселее, видна на его безымянном пальце скромная татуировка: маленький, расплывчатый,



будто шариковой ручкой нарисованный, крестик. Выпить ему не налили, просто забыли, а он, конечно, промолчал. В общем, Григория не замечают, не обращаются к нему, не говорят с ним, будто его и нет.

Поел чуток, голод утолил и молча подался к своему шалашику. Хоть бы позвал его кто, предложил остаться. Так и лежит где-то один, в темноте, с комарами, позабыт-позаброшен...

Махновочка, которая к тому времени покормила и укачала сына, незаметно взяла недопитую бутылку, пошла туда.

— На, выпей, сыночек, пускай и тебе посчастливится... Не смотри на них, не слушай, пусть себе ругаются, а ты живи, такой молодой...

Ночь, звёзды, тёплая земля...

По всему дугу рассыпались красные точки костров. Слышно, как внизу вода ластится к берегу. Тонко, сладко пахнет привяленная, а к ночи снова воспрявшая трава. Шипит сало, капает с него и потрескивает жир на угольях.

Размягчённые от спиртного, от такой чудесной ночи, люди ощущали одно и то же: полноту жизни, которой так много вокруг, которая и в стрекотании кузнечиков, и в этой луковице, и в хрусте, с которым её грызут, и в том, как рюмку передают из рук в руки, и в костре, который горит себе, поднимается дымок над ним, а пламя бросает отблески на лица и выхватывает из тьмы неровный круг покоса.

Говорят они обо всём на свете.

— Он был человек сильный, — рассказывает Кулинич про кого-то из своего лесничества. — Звали его Василь. Уехал на север.

Кулинич, когда выпьет, говорит короткими предложениями, словно через сжатые жабры, потому слышится: *сыльны, Васыль, сэвэр.*

— Поступил на лесосплав. Там его били. Порвали лёгкое. Заболел, работац не мог. Лёг помирац. Дали грушу.

И всем жалко стало того незадачливого Василя, которого и в глаза никогда не видели. Кто-то вспомнил утреннюю старуху с коровой. Где она теперь в темноте, пускай бы подошла к людям, погрелась, поужинала... И как это корова, будто кот или собака, умеет отыскивать целебные травы?

— Человека припечёт — он найдёт, а то корова...

— Свет велик, всякое бывает...

Посмотрели на тёмное пятно шалашика Григория. Снизили голоса. Выпили ещё. Заговорили про комос, что вот слетали туда, а Бога не нашли. И хотя все единодушно, даже старый Николай Мирон, сошлись на том, что Бога, конечно, нет, но всё-таки что-то есть. И надо было послушаться совета старых мудрых людей и в полночь вбить в могилу Игната-колдуна осиновый кол, ведь не успел он умереть, как начались одна за другой сухие грозы; без дождя, без туч, среди ясного дня молнии били во что ни попадя, и это большое чудо, что уцелела деревня; правда, пастуха Козю на поле гром убил, сторел весь, только обутленная головешка в гробу лежала.

— Нет, Бог — не Бог, а что-то есть...

— А что, разве нет того, что пугает?

Словом *пугает* называется всё невероятное, мистическое, необъяснимое. Чаще оно существует почему-то в виде огненного шара размером с футбольный мяч. У каждого в запасе есть история.

— Как-то веду велосипед ночью... Катится клубок огненный! Жаром горит! Пугает! Я подпрыгнул, как врезал ногой! Клубок как взвизгнет и давай ходу!.. Я тебя научу!.. Я тебе попугаю!..

По Припяти во тьме, внизу, не спеша движется ряд огней — буксир тащит баржу. Когда они проплыли, оживился старый Николай Мирон.

— А то один раз было... Я в войну иду с железной дороги... Иду. Едет мадьяр на велосипеде... Я сперва подумал — немец. Винтовка за плечом болтается. Я шапку снял... Он едет. Я здравствуйте дал... Он едет. Я смотрю — мадьяр! Надел шапку. Он едет... Винтовка, правда, за плечом. Я соступил с дороги... Он едет...

Николай Мирон родился в 1900 году и как в четырнадцать лет пошёл работать на железную дорогу, так и свековал на ней. Власть менялась, а он один был неизменный. Без железной дороги ни одна власть не обойдётся. Он

и служил каждой власти: царской, пролетарской, польской, немецкой, советской, — а уже какие там были поезда, чьи они, и что на вагонах написано, какие штемпеля стояли, ему было всё равно. Казалось бы, какая судьба! какая богатая на события жизнь! чего только человек не повидал! сколько всего может рассказать! А ничего подобного. На самом же деле он никогда не был дальше своего райцентра: ни служить, ни воевать железнодорожников не брали; всё его мировоззрение ограничивалось двумя перегонами в два конца от станции возле деревни. Даже когда однажды мужчины подняли вопрос на такую, казалось бы, близкую ему тему: почему поезда с гладкими колесами не сползают с гладких рельсов? — и тут он ничего не смог ответить, промямлил, что, может, потому, что колёса магнитные и прилипают к рельсам.

— ...Я иду. Мадьяр едет...

Вдруг возникла во тьме очень высокая фигура и стала приближаться к костру. Все притихли. Фигура приблизилась, вдвое уменьшилась, и все увидели, что это их бригадир, Стас Масловский. И очень обрадовались ему. Каждый сделал жест, что хочет подвинуться, хотя места хватало.

— Садитесь, Стас Касперович!

— Сюда, здесь мягче...

— Юшка осталась, хотя остыла...

— Зато щучья...

Бригадир покачнулся, видно, оттого, что вышел из тьмы на свет.

— А я лодкой... Попросил рыбака. Лодкой перевёз меня. Речное такси! — и расмеялся немножко громче, чем надо, и лицо его показалось более красным, чем обычно. Но это, конечно, от огня у всех лица красные.

Масловского любили, хотя немного и побаивались, — всё же, что ни говори, а он поляк. С другой стороны, приятно, что он хотя и поляк, а такой же, как все: ест, штаны носит, водку пьёт. И всё же оттого, что он поляк, было почему-то жаль его. Любому человеку, наверное, стыдно жить не на родине. Неуютно. И поэтому Масловского всегда старались ободрить, лишний раз сказать хорошее слово — известная белорусская черта, это преувеличенное гостеприимство к инородцам, чтобы, не дай Бог, не чувствовали себя здесь хуже, чем дома.

Масловский вытащил из кармана бутылку водки, бухнул на траву.

— Ну, хлопцы, денег вам будет... Не будете знать, куда складывать! В Наровлю три раза мотнулся... С бухгалтершею... Ну, Зося называют, которая замуж вышла...

Как у слышали о деньгах, как увидели ещё выпивку — оживились! Загордились! Стали набивать цену себе, своей работе. Когда так хорошо платят, так, пожалуй, есть за что!

— Теперь косилки, косилки... А корова не ест из-под косилки сено!

— Только из-под косы!..

— Нет, ну, может через силу, когда изголодается, но что там за молоко будет...

Тем временем у костра Петро Цветок не идёт спать, собрал вокруг себя детей, курит, развлекает их баснями, сылет такими словечками, как аксакал, саксаул, сакля, рахмет, саялам... Всю Среднюю Азию он называет Узбекистаном, а всех без исключения азиатов — узбеками.

— Дядя Петро, а киргизы? — тешатся, хихикают умные дети. — Казахи разве тоже узбеки?

— И азербайджанцы, дядя Петро?

— И японцы?

— Все подряд, — подтверждает Цветок. — Очень добрячие люди!

Валя крутится в шалаше, и злость в ней растёт: на комаров, на ночь, на тело, что зудит, на руки, что гудят, а особенно на смех, который мешает думать и спать.

— Вот ненавистный, — ворочается она.

Она завидует чужому смеху, радости, не понимает, почему люди к нему тянутся, а к ней — нет. От малышни отбою нет, он и сам любит детей, только почему-то не своих, а чужих.

— Там шакалы живут... Собачки такие... Выйдешь из сакли в барханы, настреляешь шакалов...

Дети переглядываются, перемигиваются — такой стрелок... Все прекрасно знают, какой он жалостливый, он даже траву косить жалеет, шихает осторожно, внимательно вглядывается, чтобы не цапнуть какую-нибудь жабку, а когда увидел перерезанного надвое молодого ужика, то побелел, руки затряслись, и жена на весь луг кричала о его никчёмности.

— Заходим в кишлак, прямым ходом — в чайхану. Духан, по-ихнему. Там из чайников вино в пиалы наливают... От души. Нет денег — бесплатно налыот. Такие уже добрячие люди...

Наконец, Валя не выдерживает и тумаками гонит его спать.

Гаснут понемногу один за другим костры, а на небе, напротив, больше звёзд, и ярче разгораются они. И где-то здесь, поблизости, ночует одинокая старуха с коровой...

Завтра к обеду скосили, к вечеру высушили и в аккуратные копны сложили. Клин был чистый, убранный, приятно глазам смотреть, а ногам — ступать, и самим не верилось, как такие маленькие муравьи смогли управиться с такой массой травы.

Больше работы не было. Подпыл паром. А люди не торопились, всё стояли, говорили... Хотелось ещё хотя бы немного здесь побыть, в этом чудесном месте.

— Поехали! — звала-упрашивала Махновочка, боясь за ребёнка. — Ну, поехали уже!..

И когда шли к парому чистым покосом, невольно оглядывались, и все, даже взрослые мужчины, в мыслях благодарили свой луг, уже не дикий, и прощались с ним, как думали, до следующего лета.

## VI

Прошло шесть лет. У Кулиничей подрос сынок — этакий херувимчик с белыми, как льняное полотно, волосами, и с синими, как цветки льна, глазами — весь в своего дядю Петра.

Почему-то поздние дети всегда немного не такие, как все. Василька больше тянуло к взрослым. С детьми он не очень любил играть в “наших и немцев”, в прятки, в хоккей-футбол. Единственное, на что соглашался, — постоять в воротах или, как он говорил, “на вороцах”. Ему интереснее было с отцом подвигать по клеткам шашки, складывать домино или перекидываться с матерью картами в “пьяницу”. Часто под вечер около Кулиничевой хаты можно было наблюдать такую картину: сидят на лавке деды с палками, и с краешка — маленький Василёк с палочкой, пальчики сцеплены на коленях.

Кулинички не жалели для него ничего. Больше детей у них не было, и Васильку доставалась вся ласка.

В деревне не понимали этого. Деревня всё прячет, здесь не принято показывать, что ты что-то или кого-то сильно любишь, здесь не до муси-пусей, не до телячьих поцелуев, не до церемоний; всё это вырабатывалось веками, передавалось из поколения в поколение, как оберег, было неписанным кодексом.

Вот классический диалог матери с сыном: “Иди есть, ирод!” — “Ай, не хочу!” — “Я тебе не захочу!.. я с тебя шкуру сущу!..”

У Кулиничей всё по-другому. Махновочка выплывет на улицу, медовым голосом: “Василёчку, иди, сыночку, естачки!” — “Иду, мамочка. А где папка?”

Родители с малых лет приучают детей к скрытности: идёшь играть, так смотри — никому не говори, что ел, в чужом доме не садись за стол, не смотри, как чужие едят, — самый большой стыд, если подумают, что голодный.

— И сохрани Бог, ничего никому не рассказывай! Молчи, и всё!

Василёк охотно шёл в любой дом, как в свой собственный. Лез за стол, если приглашали. И отвечал на любой вопрос. Хитрая баба переймёт, заманит конфетами или грушей, и начинается: “А что ты сегодня ел, Васильку?”

- Колбасу из косули. И ещё мамка фарша накрутила.
- О, брат! А где ж вы мясо берёте?
- Лесничий привёз, — беззаботно говорит Василёк, сидя на скамейке, болтая ножкою.
- А мать тебя бьёт когда-нибудь?
- Не-а.
- Ты, наверное, когда вырастешь, будешь лесничим?
- Не-а.
- Так, может, бригадиром? Масловский скоро на пенсию, так, может, ты вместо него будешь?
- Не-а.
- А кем ты будешь?
- Матросом на корабле.
- Ты посмотри! — даже остолбенела баба от удивления. — Кто же это тебя учит? Мамка?
- Не-а. Дядька Петро.
- А сколько тебе мамка денег на книжку положила? Может, уже тысячу?
- Не-а. Сто миллионов.
- А, брат!.. Так Махновочка научила...

Впрочем, все подобные спектакли заканчивались одинаково: после бабы вслух одна другой говорили (зная, что каждая донесёт Махновочке):

- Не люди, а золото! И Кулинич, и дитяtko, и жёнушка его!..

А Кулинич между тем выматывался в своём лесничестве; всё зарабатывал и копил. Не отставала и Махновочка: и в колхозе, и в городе на базаре, и огород вела. Много помогал лес-кормилец. Зимой, растянутые на рожках перед печкой, всегда сушились заячьи шкурки или смердела на весь дом лиса. Не стеснялись детского заработка: собирали и сдавали в заготовительную контору сосновые и берёзовые почки, умудряясь надрать их целые вёдра, а осенью теми же вёдрами в ту же контору тащили ягоды рябины. Про лето нечего и говорить. Летом чуть ли не ночевали в лесу. Драли кору с крушины и лозы, гребёнкой собирали ягоды, обрывали орехи или, как говорил Василёк, арах — “арахов техник дал!” Кору он называл — *кóра*. В общем, Василёк, благодаря матери, обогащал местную лексику. Все произносили — “во он”, Василёк — “во се то во он”; все — “давно”, Василёк — “во се пора”...

Крепло хозяйство. Появлялись новые вещи. И всё было как бы в квадрате, имело свою маленькую копию — с прицелом на Василька. Была кобыла — и жеребёнок, ружьё-двустволка — и тульская одностволочка, мотоцикл “Урал” — и тележка к нему... Был чёрно-белый телевизор — Кулинич съездил в город, возвратился с цветным.

Махновочка на улице прижимала Василька к себе и в зависимости от того, как росло их благополучие, меняла будущее сына:

- Скоро будешь с нами в колясочке в лес ездить, кору драть...
- Будешь с ружья зайцев бить...
- Вырастет жеребёночек — поскачешь на нём в лесничество, отцу помогать...
- Вот выучишься — будешь в цветном телевизорику выступать...
- Вот продадим мотоцикл, купим машинку — будешь руль крутить...

Все эти вещи не могли не настораживать. Нельзя хвалиться счастьем, оно не любит публичности, его надо прятать, даже стесняться его; счастливые должны отгородиться от остальных дубовыми дверями, железными замками — хотя бы ради того, чтобы не слезили.

И был ещё один момент. Очень уж красивая у Кулиничей под окном росла калина. А по деревенским неписаным законам калину (как и ёлку или сосну) нельзя сажать близко. Обычно она растёт на задворках, прячется в глухом конце огорода. А у них росла на виду, сразу перед верандой, в компании только ломоносов — эти обвивали и калиновый куст, и верёю, и саму веранду, и ещё ползли вверх, цепляясь усиками за натянутые хозяйкой нити, к самому фронто́ну. Кроме этих безобидных ломоносов, ничто больше

не мешало калине; она тут расположилась, как хозяйка: роскошная, породистая, весной облитая белым цветом, летом — даже издалека красная от крупных, крупнее вишен, ягод.

## VII

Перед тем, как зайти к Кулиничам, Петро Цветок останавливался под калиной, доставал из вечно оттопыренного — даже когда там ничего не было — кармана пиджака бутылку “чернильца”, промачивал горло, срывал горсть ягод вместе с листвой, зажёвывал, отплёвывался, посмеивался:

— От души... Добрячая закуска!

Петро понемногу превратился в тихого, пропащего пьяницу. Это просто был какой-то эксперимент с предопределённым финалом: “Кто кого, я водку или она меня?” Со временем у него снизился барьер воздействия спиртного — его никогда не тошнило. Однако даже в те редкие дни, когда он не пил, у него всё равно путались и мысли, и ноги.

Он давно оставил мечту стать машинистом, уже не провожал с завистью глазами скорые поезда; теперь его интересовали только “медведи” — товарняки с вином из Молдавии, которое экспедиторы с красными носами за копейки продавали на разлив. Не рассказывал он уже и про свой Узбекистан: панамы изнашивались, а альбом сточили в труху мыши.

Жена кляла его: “Где это видано, где это слыхано, чтобы так человек дома чурался! Доски в заборе шатаются, как зубы, а ему некогда. А он ползает и ползает по чужим домам, кто ему там каким мёдом мажет...”

И правда, хозяйство он не любил, тут Валя была права. Уже тогда обозначился крах деревни — задолго до Чернобыля и перестройки начинались первые её предсмертные судороги. Поколение Петра было последним поколением, связанным с землёй; они знали, что последние, что на них всё закончится, их дети уже не выберут их долю, да никто и не хотел, чтобы они её такую выбирали.

Петро, как маленький, убегал из дома при каждом случае. Сначала выдумывал причины, потом и выдумывать перестал — просто уходил со двора и шёл к чужим. Чужие его жалели, наливали, выпытывали, и он хотя бы частично получал то, чего был лишён дома.

— Петро, мне не водки жалко, — сочувствовала ему Махновочка, — тебя жалко! Они же тебя затолкнут! — озвучивала она то, что знала вся деревня.

Дома у Петра уже не обходилось тем, что денег на похмелье не давали. Если раньше Валя стегала его словами, так теперь перешла к делу. Тем более, девки подросли и стали активно помогать матери. Все они пошли в Валю: и внешнеюстью — такие же некрасивые, и душой — так же ненавидели отца. Пьяного, жалкого Петра связывали на полу и били: всерьёз, изо всей силы, чем попало... Даже маленькая Любка в сторонке топтала шапку. Затем оставляли лежать связанным до утра.

— Это ж надо так человека ненавидеть! — удивлялась Махновочка.

— От души ненавидят, — подливал масло в огонь Цветок.

— Хоть ты подавай в какую милицию...

— Какую милицию...

— Может, разведись. Теперь же не как раньше. Возьми Галю Миронову. Она сама побегит, в Архангельск на сплав уедете...

— Какой Архангельск, какой сплав... Она ж девка, а мне бы молодницу! Такую, как ты...

Кулинич повернул щекой к зеркалу лицо с белой бородой — он сейчас брился, поставив перед собой миску с горячей водой, и крикнул. Из-под лезвия выступила кровь. Обычно он, когда был дома, слушал, но не вмешивался.

— И не кормит, — жаловался Петро. — Дома сало и на работе сало... И то — так посолила, что в шкурке белые такие как бы проточинки.

— Ты посмотри — соли пожалела! — Махновочке, как и любой женщине, приятно было слышать, что есть хуже, чем она.

— Я ей говорю — недосолила. А она — сам Масловский ел! Кричит: “Масловский ел, а он же не ты!” Масловский карманным ножиком обрезает — это, говорит, ничего, это сольнички... Для неё Масловский — пуп земли. Масловский скажет, что теперь зима, так она будет повторять: “Зима”. Чая попросил утром, так она голый кипяток посолодила...

— И чая не бросила щепоть?

— И не бросила.

Махновочка мледа от удовольствия.

— И мало ей всё, мало... У Масловского, кричит, полный дом добра. Так Масловский же крадет в колхозе. И я бы воровал бурак, картошку...

— То то, то сё...

— А что я с путей принесу? Болт в кармане? Гайку?

Кулинич, который закончил бриться и вытирался полотенцем, воспринял это как намёк. Конечно, он давно мог бы пристроить брата в лесничество. Но не делал этого, боясь скомпрометировать себя.

— Э-х, — только крикнул он и вышел из дома.

— Говорю, костюм надо купить. Как подняла крик! А у меня один костюм: и на работу, и на выход. Вот этот самый. Расписывался в нём когда-то.

— Не даёт?

— Слушать не хочет.

— Это так боится, чтобы красивым не был, — сообразила догадливая Махновочка. — Чтобы на нищего был похож. А наденешь костюм, да побреешься...

— Я всё равно куплю.

— А и купи!

— Я уже присмотрел в городе в “Промтоварах”. Добрячий такой... В серенькую полоску. Даже мерил — как по мне шитый.

— А и купи!

— Я и куплю.

— Поставь перед фактом. Ну, покричит, побьёт немного, не порежет, не сожжёт ведь...

— Я так и сделаю. Она дождётся.

— А и сделай!

— Куплю с получки — и всё.

Выговорившись, излив душу, Петро поднимался и шёл к Грише Игнатову.

Григорий за это время успел второй раз отсидеть в тюрьме и второй раз жениться. Первая его жена с ребёнком жила в городе, а вторая — Сюзанна — пока с ним.

К дому вёл узкий длинный двор. Сам дом стоял далеко от улицы, словно прятался, стесняясь своего вида. Это была маленькая дореволюционная халупа. И это при том, что Гриша работал на лесопилке и при желании мог бы выписать любые материалы, да хотя бы и наворовать, и выстроить терем с балконами. Но в доме не было даже деревянного пола — был глиняный. Когда Петро переступил порог, Сюзанна готовила ужин на газовой плите. В доме стоял приятный запах жареного мяса. Шланг от баллона с надписью “Пропан” от плиты был всего в полуметре. Баллон стоял так близко, что его бок доставали огоньки конфорки, и краска там почернела и немного облупилась. Кроме жаркого, пахло сырой глиной и большим человеком. Закуток за печью завешен был постилкой. Там жила Гришина мать. Ещё при живом Игнате она повредила умом и перестала выходить на улицу. Когда твой человек — колдун, значит, ты, автоматически, — ведьма, тут уж ничего не поделаешь. Так и жила за печкой, там ела, спала, а про то, что ещё не конец света, знала от сына и снохи.

Обычно когда заходил Петро, — а он один и заходил, люди по-прежнему избегали Григория, да и сам он не больно любил чужих, а Петра принимал, может, только потому, что помнил, как когда-то его, загнанного зверька, Петро пожалел на косьбе, — когда Петро, входя, стучал дверью, всегда повторялось одно и то же. Из-за печи слышался старушечий голос с капризными интонациями маленькой девочки.

“Гриша, кто-то пришёл!” — “И что?” — “Я боюсь!” — “Чего ты боишься?” — “Людей!”

— Так умирай, — отвечал сын. — Теперь не зима, яму выкопаем.

Григорий в ожидании ужина сидел в углу, сложив на столе руки, как школьник за партой. Глава семьи, мужчина, хозяин. С первой женой он тоже не порывал; она работала на мясокомбинате, и Григорий минимум раз в неделю ездил в город и возвращался с сумкой бесплатного свежего мяса.

Это был уже не *затюканный апостол* времен Дикого Луга. И знака не осталось от его застенчивости. Он поплотнел, возмужал, вытянулся в рост, руки пришли в норму — не короткие, не длинные, а обычные, — мускулистые, мужские. Татуировок на них стало больше: на одной появилась русалка, на другой — стопка на тонкой ножке, оплетённая гадюкой с короной на голове, и в короне числа — номера колоний. Он давно не краснеет — теперь тюрьма в деревнях не редкость; сутулится только тогда, когда на ветру прикуривает, а так смотрит открыто людям в глаза, грудь расправлена — ухарский, наглый, умный, двумя женами ухоженный, на мясе откормленный, мордастый, гладкий мужчина. Говорить он стал с иронией: гы-гы, хи-хи, ха-ха... Словно он один знает что-то такое, о чём другие и не догадываются.

Петро пристроился к столу с края. Сюзанна по-свойски подтолкнула его поближе к сквороде и выпивке. Петро пить не стал, а накрыл свою рюмочку дрожащей, с синими венами и всё равно не деревенской, нежной рукой. Ему хотелось поговорить. Григорий сам выпил, подцепил вилкой кусок душистого мяса с поджаристо-золотистой корочкой сала.

— Я костюм, Сюзанна, собрался купить...

— Костюм? Тройку?

— Да нет, куда там, простой... Штаны, пиджак. В полоску такой...

Гриша работал честными, слушал со снисходительностью человека, которому всё удаётся и у которого таких проблем не может быть в принципе.

— Запомни, — проглотив, сказал он, — не в костюмах счастье. Я могу три костюма купить. А толку?

— Ну, ты меня с собой сравниваешь...

— А Валя биться не будет? — поинтересовалась Сюзанна.

— А я и спрашивать не буду. Поставлю перед фактом!

— Герой. Я всяких посмотрелся... И в костюмах и без костюмов. У нас вон тоже один. Приезжает из города в цех в костюме, в цехе переодевается в робу и брёвна под диск подсовывает. Так мы ему опилок в карманы насыпаем — выгребай...

Сюзанна рассмеялась. Полноватая, с неторопливыми, плавными движениями, очень красивая. Молодость и свежесть так и выширала из неё. Только немного удивительно было, как она, городская девка, симпатичная, с хорошим характером, вписалась сюда, как умудряется ужиться среди этой разрухи и ещё так смотрит за собой. Или, может, напротив, это на фоне убогости и разрухи она так хорошо выглядит?

— А возьми моего отца — светлой памяти Игната, — важно сказал Григорий. — В одной рубашке век проходил, а умнее всех был!

Теперь он не стыдился своего отца, а при каждом случае подчёркивал, что, хотя и с опозданием, а, конечно же, сработали отцовы чары — иначе разве был бы он, Григорий, таким удачливым?

## VIII

С полочки Петро купил в городе костюм и двадцать пачек “Примы”. Пересчитал сдачу. Остался такой мизер, что и расстроился. А нужен ему был тот костюм, помирал он без него, что ли? Захотелось даже возвратиться и попросить, чтобы забрали назад. Но стыдно стало. Вот купи — плохо, и не купи — тоже плохо.

Зашёл в столовую, выпил винца, занюхал рукавом — в последнее время он совсем перестал закусывать, не лезло ничего. На станцию поехал дизелем. Солнышко сентябрьское грело, мухи зумкали около мутного стекла. Убаюкало, развезло Петра. На станции стал переходить рельсы, заплелись

ноги, брякнулся, как стоял — вперёд, переносицей на стальной рельс. Кровь так хлынула, что пакет с костюмом вымок, а “Прима” в сетке из красно-белой превратилась в красную. В больнице посмотрели, что пьяный, бедно одетый, никто ничего не исправлял, кое-как на скорую руку зашили, как сапожник штопает дырявый сапог... Так и срослось. Переносицы не стало совсем. Вместо ровного симпатичного носа теперь торчал между щеками утиный сплюснутый клюв, а на том месте, где была переносица, среди проваленных морщин, светили две маленькие, как иголкой проткнутые, дырочки. Когда Петро курил, дым шёл через рот, через ноздри и струился через эти дырочки. Ещё они посвистывали. Петро скажет слово — свись! На сочувствие — мол, черти, не могли зашить по-человечески — отвечал:

— Такая уже женщина была добрая (свись дырочками!)... От души!

— Она же тебя изувечила!

А он своё:

— Если бы не моя, я бы с нею ещё (свись!)...

Он ещё не вполне понимал, что случилось, думал, что он по-прежнему Цветок. Как-то пришёл к Махновочке.

— Дай машинку, Сюзанна подстричь обещала.

— Петро, — сказала Махновочка, доставая из ящика в столе продолговатый футлярчик, стараясь быть строгой. — Ты ж смотри... Люди без рук, без ног цепляются... Ну, что же это — стакан и папироса... Ты же раньше как-то не так сильно пил... Подожди, возьми конфеты Сюзанне...

Сюзанна прорезала дырку в газете, одела Петру на голову, застрикала около уха машинкой.

— А почему же вы костюм не носите?

— Он мне как бы в плечах широковат, — Петро осторожно повернулся под газетой, чтобы показать, и свистнул носом.

— А не ругались?

— Не.

— Ну, правильно... Ревновала. А теперь кому вы нужны?

— Гриша, что там стрякает? — капризничал голос за печкой. — Чего тут люди? Я боюсь!..

Григорий что-то думал, поглядывая на Петра.

— Слушай, — сказал он, — я не могу на тебя смотреть без смеха. — Снял со стены продолговатое зеркало с воткнутой в раму новогодней открыткой. — На, сам посмотри. Ну, какой ты Цветок? У нас один был такой, на тебя похожий, так мы его дразнили Носор. Я тебя теперь тоже буду называть Носор, хорошо?

Так понемногу Петру стало открываться, что он уже не тот, каким был. Тяжело было смириться с этим. Конечно, привык человек к красивой внешности, думал, она вечно будет с ним. Пил он по-прежнему, так, что Валя уже махнула рукой и даже бить перестала: без толку это, он всё равно не ощущал боли.

Прошла осень, наступила зима. Прошёл декабрь, а в январе Петро взял костюм под мышку и понёс по домам продавать. Никто не купил. Зато напoили так, что вечером Петро упал на пол, во рту у него оказался синий огонёк, как из газовой конфорки. На этот раз всерьёз напуганная Валя разослала дочек во все концы: Любу — за Махновочкой, Веру — к Масловскому, вызвать “скорую”, Надю — к Сюзанне, потому что в таких случаях, когда пьяница “горит”, надо, чтобы молодница помочилась в рот. Сюзанна набросила пальто без платка, пока добежала — Валя с Махновочкой уже голосили на всю улицу.

Хоронили Петра в мороз. Деревья стояли в белом инее. Николай Мирон в кожаных перчатках, в толстых рукавицах, в шапке с опущенными ушами смотрел, как на кладбище копают яму, и давал советы.

— Оно только кажется, что мороз, а в мороз земля не твёрдая... Да, сверху, сантиметров двадцать пять-тридцать, — снимал рукавицу, нагбался, шупал, а земля и правда чем глубже, тем теплее была.

На поминки Кулинич привёз откуда-то лосиное бедро. Махновочка надевала котлет, сварила холодец. Впрочем, и так всего хватало, ведь тогда ещё



была традиция обязательно приносить на поминки кисель, бутылку, миску с вишнегретом, курицу или кусок мяса.

Составленные столы пересекали весь дом. Но места всё равно всем не хватало, ведь людей на кладбище было много. Решили поминать сменами: одни выйдут — другие займут их лавки.

— Когда-то так — если сел, то сел, — воспоминал Николай Мирон. — А поднялся — больше не сядешь. А теперь же курят. Вышел, покурил, опять воротился...

Из чужих приехали из города далёкие родственники по Валиной линии, муж с женою. Жена была местная, её знали, а мужа в первый раз видели. Скромненький, культурненький, в костюмчике-галстучке, маленького роста, аккуратной подстриженный, похожий на учёного или на учителя математики. Он не курил и от спиртного отказался категорически, махнув в сторону кладбища: “Свежий пример!” Его сразу зауважали.

Только начали рассаживаться, как вдруг Сюзанна навзрыд заплакала:

— Я виновата!.. Если бы быстрее успела... Жил бы!

Валя, поджав губы, упрямо смотрела перед собой в тарелку. Весь её вид говорил: да, виновата. И ты, и все за этим столом, только не я.

Махновочка даже руками всплеснула:

— Ещё чего выдумай! Тебе здесь совсем быть не над! (Сюзанна была беременна.)

И повела её домой. А за столом вышла новая заминка. Люди переглядывались, перешёптывались. Надо было что-то сказать, и так сказать, чтобы не обидеть вдову, а это было практически невозможно. Любые слова воспримутся как обвинение Вале. Например, если начать жалеть покойника: “Чего он умер, мог бы жить да жить...” Или если, например, посочувствовать ему: “Вот и отмучился...”

— Ну, кто скажет тост? — громко спросил Григорий, который копал яму и поэтому здесь, за столом, чувствовал себя свободно. — Ну, так и быть, давайте я скажу тост.

Но тут встал Кулинич.

— Брата моего Петра уже не поднимешь — ему пусть земля пухом. А что с его работы никто не приехал, — злорадно повысил голос Кулинич, — венка не прислали — так пусть они когда-нибудь побачац сами!.. — торжественно, мстительно окончил он.

Вот это слова! Так сказал, что позавидовать можно. И виновных нашёл, и Валу не обидел.

В конце стола сидели две осиротевшие Петровы дочки, Вера с Надей, уже большие девки. На их некрасивых, нахмуренных, с красными глазами лицах выразительно читалась досада, недовольство: и без того им с таким отцом жизнь не была мёдом, а теперь и вообще что выдумал, показал фокус: взял и умер!.. Маленькие Люба с Васильком честно копировали взрослых, компотом в рюмочках не чокались, лобики наморщили, в руках — носовые платочки, на коленях — полотенчики... Только раз поднялась в их уголке возня, и послышался шёпот Любки на весь дом:

— Не трогай, мой папа умер, а не твой!..

Сначала немного стеснялись чужого человека за столом. Но этот городской родственник, этот учёный или учитель, вёл себя, как мышь. Не пил, мало ел. Что-то ему заминало. Прятал под скатёрку руки. А жена его как-то умоляюще, растерянно смотрела на земляков, словно загода прося за что-то прощения. Терпел он терпел — и всё же не выдержал: скоро кувыркнул пятьдесят граммов, потом, не закусывая, подряд одну за другой — ещё три раза по пятьдесят. Решительно отвёл женину руку с котлетой на вилке. Поднялся, звонко постучал рюмкой о бутылку, требуя тишины, и повёл такой разговор.

— Я объездил всю Беларусь и должен признаться, что такой дичи, как у вас, нигде больше не увидишь. Богатейшую историю, традиции, обычаи вы умудрились опустить до примитива. В Малоритском районе (граница с Украиной) дед ползёт раком, а всё равно по-украински: “Доброго ранку!” А у вас? Слышали ли вы про такую традицию, как голошение? Мужчины не

голосят никогда, — он начал загибать пальцы. — Плач старухи более важен, чем молодой женщины, а голошение дочери по отцу более важно, чем жены по мужу. С кладбища возвращаются — надо три раза печь погладить и сказать: “Пусть умирают тараканы, а не люди”. А вы руки сполоснули — и всё? Скорей за стол?

Бедная жена, красная от стыда, шмыгала, тянула его за полу. Но лектор только входил в роль, поставил рюмку и загибал пальцы уже на второй руке.

— Три блюда: кутья, кисель, холодец... За траурным столом все должны быть печальными, никаких оговоров, шуток. А вы — тост, — посмотрел строго на Григория. — Говорить надо сдержанно, тихим голосом и только о покойнике, — посмотрел на этот раз на Кулинича. — А не о тех, с кем он работал, не про венки... От прадедов покоя веков нам засталася спадчына — кому это было сказано? Вам? Кто это услышит? Вот девушка была, здесь сидела... Плачет, что не помочилась в рот. Дичь! Суеверия, наговоры, колдуны... Самое обычное язычество, поганство!..

Все и раньше чувствовали, что что-то не то. А тут просто разобиделись. Слово “поганый” знали все. Какой бы ни был учёный, а обзываться за столом... Это же не свадьба... Тихо загудели, несмело зашумели — вроде “выпил — так будь человеком”... Опытный Гриша давно не ел, слушал настороженно. Особенно его задели слова про колдунов. Он понял это как намёк на отца. Никто до этого времени не имел права усомниться в том, что Игнат и в самом деле был человеком необыкновенным.

— А в рог? — спросил Григорий. Его глаза ничего хорошего не обещали, правая рука сжалась в кулак, синий от татуировок. — Если я тебе в рог дам?

Тут, как раз вовремя, вошла Махновочка, мгновенно оценила ситуацию. Бросилась разнимать. Как птица крылья, растопырила руки:

— Всё, будет, будет! На поминках долго не сидят!.. Гриша, пошли... А вы — поехали!.. — и стала толкать к дверям учёного вместе с женой. — Поехали, слышите!.. — забыв, что никуда они не могут уехать, просто не доберутся в такое время до города.

Так Махновочка повела домой Гришу. И Василёк пошёл с ними.

Была зима, январь, колодец с оплывшим, намёрзшим льдом, звёздное небо, тишина, синий снег и голубые, очень уютные окна домов. Ровно пересекала деревню улица. Тёмные заборы, тени от них и от домов только ещё больше подчёркивали красоту ночного снега. Он искрился и скрипел под ногами. Василька держал за одну руку Гриша, за другую — мать, и он не столько шёл, сколько ехал по скользкой, как каток, дороге, а то поджимал ноги и висел между взрослыми.

— Мама, а дядя — учёный?

— Учёный, сынок. И ты, когда вырастешь, станешь учёным... Только водки берегись, видишь, что от водки бывает...

— Ну, и что, что учёный? — сказал Гриша без злости — остыл на улице, смягчился. — Если он учёный, так пускай сперва пить научится. Я ещё не таких учёных видел. Целую академию прошёл.

— Ох, прошёл, Гришечка, прошёл, не дай Бог никому пройти... Ты на них не смотри. Они сами по себе, а ты тихонько сам по себе. Он сказал по учёности, а ты стерпи, промолчи, отойди в сторону... Разве ты чужому человеку свои мозги вставишь?.. У них учёность, а у тебя тоже и ум, и Сюзанна, и работа... Сам добился, никто не помогал...

— А кто мне помогал? Сам!

— Ох, сам, Гришечка, век сам, и не пропал, в люди вышел, и мать несчастную смотришь, не бросил, и всё у тебя ладненько-складненько...

Со стороны если бы кто чужой услышал, так можно было подумать, что Гриша две аспирантуры закончил, а не две ходки имел за плечами. Где-то далеко, на другом конце деревни, прозвенело ведро у колодца, а казалось, будто совсем рядом. И таким близким было небо, что звон ведра долетел до него, и звёзды, большие и маленькие, тоже прозвенели тихим эхом в ответ.

— Так тёпленько сидеть дома, телевизор смотреть, а ему холодно, — забывалась Махновочка и говорила про Петра, как про живого. — Так уж

жалко его, так жалко! Такой хороший был... А что видел на своём веку? Ничего. Хорошие все несчастные, а злые — счастливые.

Здесь Григорий не согласился. Он считал себя и счастливым, и не злым. — А чем он несчастливый? Яму выкопали, гроб сделали, венки купили... Всё как у людей. Лежи себе.

— Он не в земле лежит, а висит на небе, — сказал вдруг маленький Василёк, поджимая ноги. — Видит нас и всё слышит.

И правда — такая красота была разлита вокруг, что не допускала она мысли о смерти; не бывает её! не может её быть в этой звёздной бесконечности, среди вечной гармонии, где всему своё место, где ни одна космическая пылинка не возникает и не исчезает сама по себе, без чьей-то на то воли!..

А звёзды всё перемигивались, всё тоненько звенели, словно и вправду это были бесчисленные души давно от нас отошедших, которые теперь там, вверху, продолжают жить, переговариваются между собою на своем языке, посматривают на нас и сочувствуют нам.

## IX

Петра похоронили зимой, а летом к Вале посватался вдовец из соседней деревни, тоже, как и покойник Петро, моложе неё. Нормальный человек. Не пил, не курил. Имел бензопилу и сына такого возраста, как Любка. Валя пошла за него. Он продал свой дом, перебрался к ней, и они стали жить, как так и надо.

Почему таких мужчин тянет к таким, как Валя, что они в них находят — большая, вечная загадка, и разгадки ей пока нет в этом мире. Дело вкуса? Кому нравится поп, а кому попадья? А может, ещё проще, и здесь обычный трезвый расчёт: возьму такую ведьму — благодарна будет, больше любить будет, изменять не будет, а я, наоборот, под всю эту вольнку развернусь, под шумок начну делать, что хочу... А дудки. Никогда так не получится. И разве под старость, когда уже, собственно говоря, поздно, спохватится такой мудрец — так что же это вышло? Не я её, а она меня под себя подмяла, не я на ней, а она на мне всю жизнь проездила...

В конце умиротворённого, тихого августа, когда летали серебряные нити с чёрными паучками, калина гнулаась от тяжёлых гроздей, а под окнами вдоль стены кипели в самом цвету георгины, мальвы, и выбрасывали свои высокие стрелы “школьные” цветы гладиолусы, вечером Махновочка собирала сына в первый класс. Василёк был рад: он уже умел читать, писать и знал таблицу умножения. Махновочка даже присмотрела и подвязала ниточками лучшие цветы, чтобы срезать их завтра свежими в букет. На диване лежали костюмчик, рубашечка, стояли сандалии — всё новенькое. Кулинич специально возил сына в город на примерку. На столе — учебники, и тетрадочки, и ранец. Махновочка собралась сына мыть. Затошила печь, наставила горшков, лоханей, корыт... Мысли роились весело и беспорядочно. Она представляла, как они с отцом будут проверять дневник, помогать делать уроки; или как он вырастет и женится, а они с мужем будут любоваться на них, молодых, и только жаль, что нельзя в церкви, ведь сами они с Кулиничем расписались в сельсовете — так себе, не очень торжественно...

Она наставила горшков, сын был уже голенький, как-то оступился и сел в кипяток. После Махновочка рассказывала, что он не успел даже вскрикнуть, но она сама тогда взревела так дико, что никакой другой звук просто не мог быть услышан. У сына задок и всё, что можно, было сварено вкрутую, до синей черноты. Он умер, не доехав до больницы. Кулинич сам сделал маленький гроб, выгесал невысокий дубовый крест. Постоял с топором в руке, посмотрел на двор. Потом пошёл и под корень стал сечь калину. Падали на забор, разбивались, лопались красные крупные ягоды. Куст сопротивлялся смерти. Топор спружинил на неожиданно твёрдом стволе, рука вздрогнула, и удар пришёлся по ноге. Кулинич обеими руками зажал рану и проговорил: — Болец!..

Вот так оно сработало, это подлое, безжалостное, отвратительно-жестокое правило: а не забывай, кто ты в этом мире, не люби сильно, не привя-

звжайся к кому бы то ни было, не привыкай, будь всегда наготове, чтобы не застигло врасплох, умей защищаться, держи про запас все варианты — вплоть до самого худшего... А позабудешь, расслабишься, захочешь посмотреть на этот мир широко раскрытыми васильковыми глазами — так мы напомним!..

Горе Кулинички переносили мужественно. По крайней мере, внешне. Только появились некоторые новые черты в их поведении, характерах, привычках, и это новое удивляло.

Например, Махновочке всё время нужно было, чтобы у неё были заняты руки. Доходило до того, что — всё равно не спала! — полола ночью огород, в темноте, на ощупь, отделяя картофельную ботву от травы.

— Чего ты опять ночью в огороде? — злились на неё.

— То я котика искала... Котик в борозду забежал, мяукает, — врала она, оправдываясь.

— Грех так сильно переживать! Ещё беду на деревню накличешь!..

Смерть сына выявила не худшие качества Кулиничей, а лучшие. Их стало тянуть к людям, этим они думали спастись. Махновочка куда бы ни шла, как увидит кого на огороде или во дворе — бежит, спотыкается:

— Хоть немножечко помогу...

— Иди! — гнали её. — Не надо твоей работы!

У Вали у ворот рос молодой дуб. Примак, чтобы показать свою хозяйственность, начал с того, что бензопилой его свалил, чтобы сделать новую вереву. Очесал. Шнур натёр углём, гвоздиком прибил, натянул на струну, приподнял — шпок! — отбилась ровная чёрная отметка, по которой можно долбить пазы. Кулинич издали усмотрел, идёт, торопится, ногой загребаёт — всё-таки повредил топором. В руке пешня тянется по земле, как щучий хвост.

— Куда ты идёшь, куда? — сердито кричит примак. — Чего ты идёшь, чего?

— Памагац!

Ещё Махновочка полюбила ходить в гости. Каждый вечер брала гостинец и шла к кому-нибудь. Как увидят через окно, что она идёт, так убегали или закрывались, затаивались, будто бы нет дома. Прошёл слух, что она ходит воровать. И как-то так получилось, что стали называть её уже не Махновочка, а Махновка, и вместе с этим ласковым суффиксом действительно как бы пропала, исчезла обаятельность, а осталось только что-то от нелюдиного, неприкаянного батеньки Махно.

Махновка поняла, что её просто чуждаются, когда пришла как-то к Вале, принесла жёлтых тыквенных семечек девкам.

— Знаешь что, — сказала Валя, — Петра больше нет, не ходите сюда. Ни ты, ни Кулинич. Я тебя слушать не хочу. А за ту лосятину отдам как-нибудь... У меня человек умер, так меня никто не пожалел, моего горя никто не видел, а у тебя уж такое горе, что только на руках носить.

Однажды утром Махновка собралась и пошла пешком за десять километров в город в церковь. Что там было, что она у кого просила, неизвестно, но возвратилась она и вправду другая, как бы отстранённая от людей.

До её души теперь добраться было невозможно. Ей скажешь: "Дождь идёт", — она в ответ: "Пускай идёт!" — а глаза застывшие, неподвижные.

— Селёдку в магазин привезли...

— Пускай везут.

— Сюзанна Гришина девочку родила...

— Пускай рожают.

— И что же это за муки такие... Ты же ещё не старая, сходи в поликлинику, проверься, теперь же и в пятьдесят рожают, не то что в сорок...

— Пускай рожают.

— Коли уж так невыносимо, так усыновите! Сходите в органы опеки, — советовали ей.

— Пускай усыновляют!

— Сходи ты, я тебя ещё научу, в молитвенный дом. Попы не помогли, так, может, баптисты помогут...

— Пускай помогают, — сворачивала она на битую дорогу: голос — сам по себе, а мысли — в другом месте.

Этим поведением, как ни странно, стала она напоминать Григория. Одна я знаю что-то такое, читалось по ней, чего вы не знаете. Только у Григория было это с вызовом, с гаганьками, а у неё — с каким-то нехорошим самоуглублением.

А Грише, новоиспечённому отцу, уже начинала надоедать его степенность, и все чаще тянуло его на холостяцкие гульбища. И он рассказывал нам, подросткам, что облепили его лавку, слушали его, набираясь блатной мудрости, — рассказывал, как ночью прибежала к ним Махновка, помешанная, седая, страшная, покатила в ноги: “Гришечко, сыночек, отдайте мне девочку, вы себе ещё родите!”

Мы хохочем...

## Х

Ещё года через три, в июле, Кулинич с Николаем Мироном пришли на мост посмотреть, как мы, уже большие парни, после школы, ловим рыбу.

Николай МIRON каким был, таким остался, ходил без палки, и если бы и теперь ездили в Дикий Луг, так и он бы поехал. Но давно уже никто куда не ездит.

Не такой Кулинич. Сгорбленный, с палкой — покалеченная нога перестала сгибаться. У него сделался тик на глазу. Когда он говорил, веко начинало дергаться, и вместе с ним — щека, а со щекой задиралась верхняя губа, и все зубы с той стороны были видны. Гриша прозвал его за это Скалозуб.

День был тёплый, душный. Николай МIRON посидел немного и пошёл домой пить соду. Мы вылезли из воды, поделили улов. А Кулинич, опустив голову, всё сидел и что-то бормотал. Подкрались сзади подслушать, что он там говорит. А он даже не услышал шагов, не заметил, что уже не ловят. Сидел, смотрел вниз на воду; и губы его шептали:

— Ниже, ниже, ниже...

Наверное, в мыслях он был далеко отсюда, где-то там, на Диком Лугу, в том времени, когда он был ещё никакой не Скалозуб, а молодой, сильный, весёлый, удачливый до такой степени, что даже рыбу мог поймать, не замочившись; когда всё было так светло, счастливо, и верилось, что впереди — только лучшее.

А может, он хотел сказать: так что же это за штука такая — жизнь, как же она умеет обмануть человека, вознесёт высоко, а затем неизбежно опускает всё ниже, ниже, ниже?..

*Перевод с белорусского  
Натали КАЗАПОЛЯНСКОЙ*